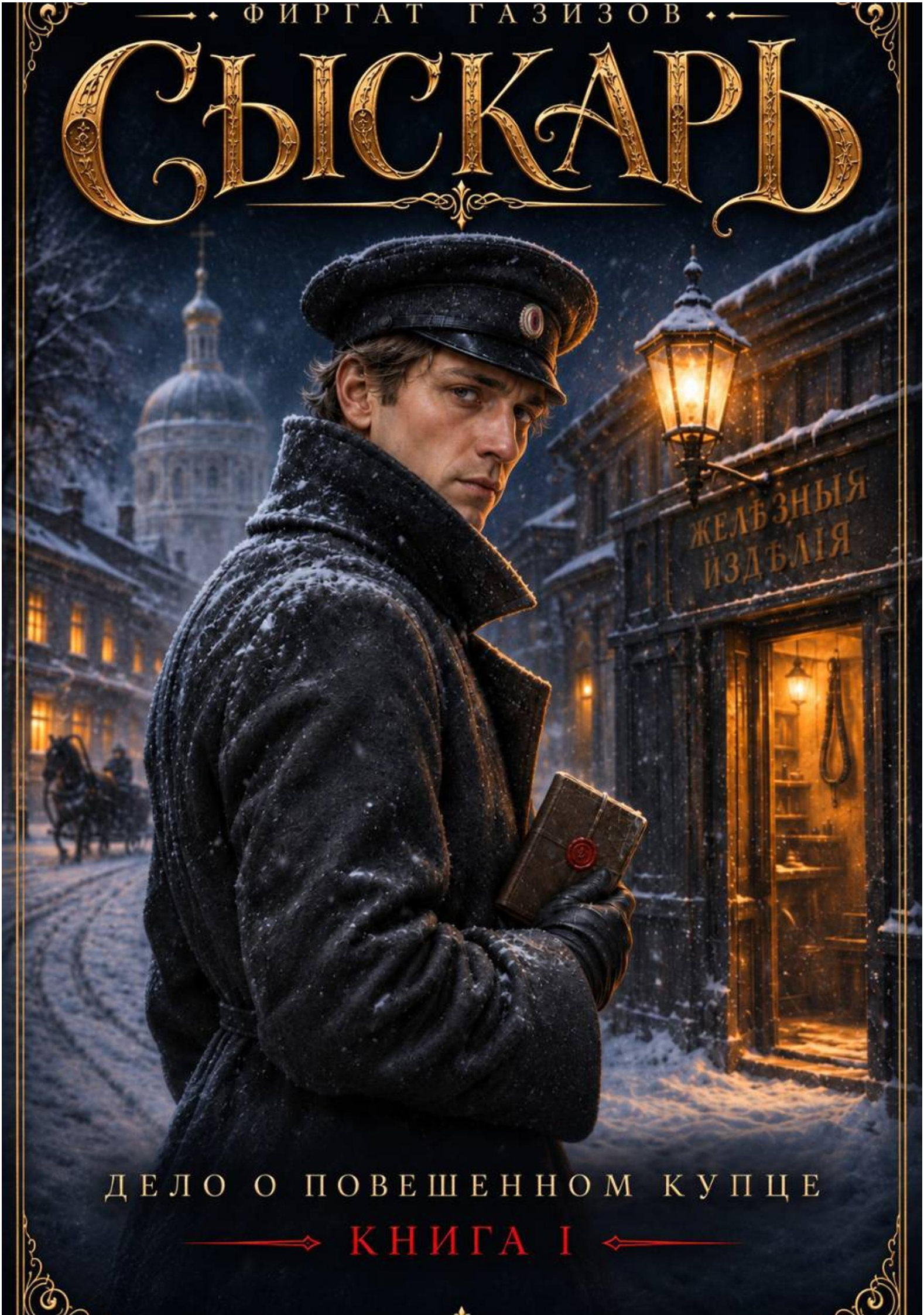
ФИРГАТ ГАЗИЗОВ

СЫСКАРЬ



ДЕЛО О ПОВЕШЕННОМ КУПЦЕ

КНИГА I

Фиргат Газизов

Сыскарь. Дело о повешенном купце

«Автор»
2026

Газизов Ф.

Сыскарь. Дело о повешенном купце / Ф. Газизов — «Автор», 2026

Двадцать лет я выезжал на трупы. Потом был инфаркт, и я очнулся в 1880 году.Москва, декабрь. Газовые фонари, извозчики, Хитровка. Я - младший надзиратель сыскной полиции Алексей Сабуров: долги, запои, репутация хуже некуда. Начальство дало последний шанс - оформить самоубийство купца и не путаться под ногами.Вот только купца не вешали. Его задушили. И никто, кроме меня, этого не видит, потому что здесь ещё не знают, куда смотреть.Ни отпечатков, ни лаборатории, ни камер. Зато есть свидетели, которые врут, начальство, которому нужна бумага, а не правда, и долговая расписка в кармане покойного. Подписанная моим новым именем.А ещё я помню, что случится 1 марта 1881 года. До этого дня - меньше трёх месяцев.

© Газизов Ф., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Горизонтальная борозда 5
Глава 2. Запертая дверь 11
Глава 3. Свидетель обвинения 16
Глава 4. Чужая комната 21
Глава 5. Три дня 26
Глава 6. Покойницкая 31
Глава 7. Трактир «Луков» 36
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Фиргат Газизов
Сыскарь. Дело о повешенном купце

Глава 1. Горизонтальная борозда

«Сего 9 декабря в седьмом часу утра дворником Фролом Никитиным в лавке купца 2-й гильдии Ефима Карпова, что на Гончарной улице, обнаружен означенный Карпов висящим на вожже, привязанной к крюку для лампы. Признаков насилия не усмотрено».
Из донесения околоточного надзирателя 3-го участка Таганской части

Сначала пришёл запах.

Перегар, махорка, мокрая шерсть и почему-то сургуч. Перегар был мой: я понял это, когда попробовал вдохнуть поглубже и меня едва не вывернуло.

Потом пришёл голос.

— Сабуров! Сабуров, извольте встать, когда с вами говорит начальство!

Я встал. Пол поехал влево, стена вправо, а я остался посередине и вцепился в край стола.

Стол был дубовый, весь в чернильных пятнах, с выжженным кругом от самовара. В нашем отделе таких не было лет сорок. В нашем отделе вообще столы были из ДСП, и на моём стоял монитор с треснутым углом.

Монитора не было.

Последнее, что я помнил, — гаражи на окраине, четвёртый час ночи, труп в «Ниве», фонарик в зубах. Потом меня как будто сдавило за грудиной ремнём, медленно, со вкусом. Я ещё успел подумать, что за двадцать лет видел этот инфаркт раз сто, только с другой стороны.

А теперь стол. И голос.

Передо мной стоял человек в тёмно-зелёном мундире, лет пятидесяти пяти, с седыми бакенбардами, будто срисованными с портрета в учебнике истории. В левой руке у него была табакерка, правой он стучал по столу костяшками пальцев. Смотрел он на меня так, как я двадцать лет смотрел на неопознанные трупы: без злобы и без надежды.

— Вы меня слышите?

— Слышу, — сказал я.

Голос был не мой. Выше, моложе, с хрипотцой. Я опустил глаза на свои руки, лежащие на столе. Длинные пальцы, обкусанные ногти, на костяшках ссадины, на безымянном чернильное пятно. Мои руки были шире и в пигментных пятнах, и на правой не хватало фаланги мизинца: кто-то когда-то закрыл дверь гаража.

Эти руки были целые. Им было лет двадцать пять.

Ладно, подумал я. Ладно. Сначала осмотр, выводы потом. Это правило я вбивал стажёрам двадцать лет, вот и проверим, работает ли оно, когда труп — это ты.

— Последний раз, — сказал человек с бакенбардами. — Слышите, Сабуров? Последний. Его превосходительство мне вчера сказал, что держать в сыскной пьяниц — значит позорить мундир. Я за вас просил. Я, старый дурак, за вас просил!

Он щёлкнул табакеркой, взял понюшку, чихнул в платок и продолжил уже тише, почти устало:

— На Гончарной удавился лавочник. Карпов, скобяная торговля. Околоточный донёс. Съездите, оформите, опросите кого надлежит. К вечеру бумага должна лежать у меня. Не будет бумаги — не будет вас. Ясно?

Я хотел спросить, какой сейчас год.

Спросил, где мои сапоги.

Это было разумнее.

* * *

Сапоги стояли под лавкой у стены. Рядом валялась шинель серого сукна, с засаленным воротником, а на шинели фуражка с кокардой.

Я сел на лавку и стал обуваться. Руки знали, что делать: портянку наматывали сами, быстро и ловко, хотя я в жизни не носил портянок. Это было неприятнее похмелья. Тело помнило то, чего не помнил я.

Комната была длинная, с низким сводчатым потолком. Три стола, шкаф с папками, печь в изразцах, на стене портрет бородатого человека в мундире с эполетами. Я узнал его, как узнают лицо с денежной купюры: Александр Второй. Под портретом висел печатный табель-календарь, и чья-то аккуратная рука вычеркнула в нём все числа до «9 декабря, вторникъ».

Со всеми твёрдыми знаками, как положено.

Я посидел, глядя на эту клетку. Потом заставил себя посмотреть на бумаги на ближайшем столе. Почерк с завитушками, яти, «сего числа», «оного». В углу печать с двуглавым орлом. Внизу дата.

1880.

Человек с бакенбардами уже ушёл к себе, хлопнув дверью. За дальним столом скрипел пером писарь, лысоватый, в нарукавниках, и делал вид, что меня здесь нет. А у печки грел руки ещё один, молодой, лет тридцати с небольшим, в сюртуке хорошего сукна, с аккуратной бородкой и перстнем на мизинце.

Он подошёл, когда я затягивал второй сапог.

— Голубчик, — сказал он мягко, — ну что ж вы так. Егор Саввич ведь и правда за вас стоял.

От него пахло одеколоном и дорогим табаком. Глаза весёлые, внимательные.

Я не знал, кто он. Тело тоже, судя по всему, не знало, а может, знало и молчало.

— Голова, — сказал я. Это было правдой и ни к чему не обязывало.

— Ещё бы не голова. — Он вздохнул, достал из жилетного кармана сложенную рублёвую бумажку и сунул мне в ладонь. — Возьмите на извозчика. И, ради бога, выпейте сначала чаю, а не того, что вы обычно пьёте. Вернёте, когда сможете.

— Спасибо.

— Пустяки. — Он хлопнул меня по плечу. — Оформите этого удавленника и приходите в себя. Право, Алёша, обидно смотреть.

Он снял с вешалки длинную тёмную шинель с меховым воротником, накинул её на плечи и вышел.

Я посмотрел на рубль. Кредитный билет, орёл, мелкий узор, подпись управляющего. Настоящий.

Писарь за дальним столом поднял на меня глаза и тут же снова опустил.

— Кто это был? — спросил я.

Перо остановилось.

— Павел Ильич, — сказал писарь осторожно, как говорят с больными. — Свешников. Вы, Алексей Николаевич, совсем, что ли…

— Совсем, — согласился я и пошёл искать, где тут выход.

* * *

Москва была белая.

Это первое, что я увидел, выйдя на крыльцо. Снег лежал на крышах, на подоконниках, на спинах лошадей, на шапках прохожих. Его никто не убирал и не посыпал реагентом, его укатывали полозьями, и улица блестела, как сахарная.

Второе — тишина. Никакого гула. Скрип полозьев, конское фырканье, где-то колокол, где-то крик разносчика: «Сбитень горячий!» И всё.

Я стоял на крыльце, держась за перила, и дышал морозом, пока не перестало тошнить. Потом спустился к извозчикам.

— На Гончарную, — сказал я первому. — К лавке Карпова.

— Тридцать копеечек, ваше благородие.

Я понятия не имел, много это или мало. Кивнул и полез в сани.

Ехали долго. Я смотрел по сторонам и запоминал, как запоминал всегда, приезжая на место: вывески («Колоніальные товары», «Трактиръ», «Портной Жакъ изъ Парижа»), фонари на чугунных столбах, будочник в тулупе, конка, которую тащили две лошади. Лица. В основном бороды. Бабы в платках, гимназист в шинели с ранцем, нищий у церкви, который крестился на каждого проезжающего.

Где-то на Яузском мосту тело вдруг само повернуло голову налево, туда, где за рекой стояли низкие дома под снегом, и я понял, что знаю дорогу. Не помню, а знаю — как правую руку от левой. Сейчас будет подъём, потом церковь с зелёным куполом, потом направо.

Был подъём. Была церковь. Извозчик свернул направо.

Я сжал рубль в кармане так, что бумажка хрустнула.

Хорошо. Будем считать, что у меня два источника информации: мои двадцать лет опыта и его двадцать четыре года жизни. Первому я доверяю, второму пока нет. Как и любому свидетелю, который был пьян в момент событий.

О третьем источнике думать не хотелось. В моей прежней квартире на кухне осталась кружка с недопитым кофе, на телефоне — будильник на семь, а в морге к утру, вероятно, появился эксперт Ковалёв. Если появился. Осматривать собственную смерть из 1880 года было нечем, поэтому я отложил её до лучших времён.

* * *

Лавку я узнал бы и без тела Сабурова: у дверей стояла толпа.

Человек двадцать. Бабы с кошёлками, мужики, мальчишки, сбитенщик с медным баком за спиной, который торговал, пользуясь случаем. Перед дверью, растопырив руки, стоял городовой в башлыке. Над дверью висела вывеска: «Скобяной и желѣзный товаръ Е. П. Карпова».

Толпа на месте происшествия — это всегда плохо. Затоптанный снег, затоптанные следы, двадцать версий, и все с чужих слов.

— Пропусти, — сказал я городовому.

Он посмотрел на мою шинель, на фуражку, на лицо и, кажется, решил, что лицо можно простить.

— Пожалуйте, ваше благородие.

Внутри было темно и холодно: печь не топили со вчерашнего вечера. Пахло железом, дёгтем, керосином. Вдоль стен на полках лежали подковы, гвозди в ящиках, топоры, замки, связки цепей. Посреди лавки шёл длинный прилавок, за ним конторка и дверь вглубь, во двор.

Над прилавком в потолке торчал железный крюк. На крюке висел обрезок вожжи.

А под ним на рогоже лежал Ефим Карпов.

Его сняли и положили на спину, прикрыв газетой до подбородка. Лицо закрыть забыли. Или не захотели: смотреть на него действительно было неприятно. Одутловатое, синюшное, рот приоткрыт, кончик языка между зубами. Борода с проседью, расчёсанная надвое, как у купцов на картинках.

Над телом стоял толстый усатый человек в шинели с медной бляхой и мял в руках шапку.

— Ваше благородие! — Он обрадовался мне так, словно я привёз ему жалованье. — Слава те господи. Околоточный Букин, Тихон Ерофеев. Я уж и донесение отослал, всё как есть. Удавился, сердешный. Дворник его в седьмом часу нашёл, Фрол. Вон он, Фрол-то, во дворе трясётся. Мы его и сняли. Нехорошо ж, на крюке-то, при народе.

— Кто снимал?

— Я и Фрол.

— Как снимали? Вожжу резали или узел развязывали?

Букин заморгал.

— Резали, ваше благородие. Ножом. Чего ж её развязывать.

Хоть что-то. Я кивнул на крюк:

— Обрезок не трогать. Никому.

— Слушаюсь…

Я присел возле тела на корточки. Колени хрустнули, голова отозвалась гулом, желудок подкатил к горлу. Я переждал. Потом снял газету.

Карпов был одет как для лавки, а не для смерти: жилет, рубаха навыпуск, суконные штаны, валенки. На жилете цепочка от часов, сами часы в кармане. Если бы его грабили, часы бы взяли.

Руки. Я взял правую, тяжёлую, ледяную. Окоченение полное, держится. Пальцы скрючены. Под ногтями тёмное. Ноготь на среднем пальце сломан почти под корень, свежий слом.

Висельники за ногти не держатся. Висельник, который передумал, хватается за петлю, и тогда на шее остаются царапины от его же ногтей. Я посмотрел. Царапин на шее не было.

Зато был воротник.

Я отогнул ворот рубахи, и тут всё встало на место.

Борозда шла вокруг шеи почти ровно. Плотная, тёмная, с осаднением, на одном уровне спереди и сзади. Замкнутая. Чуть ниже кадыка.

У повешенного петля съезжает к узлу. Борозда идёт снизу вверх, к уху или к затылку, и там, где узел, прерывается. Так устроена физика: тело тянет вниз, петля тянет вверх. Хоть в 1880-м, хоть в 2026-м.

Эта борозда не прерывалась и не уходила вверх. Она лежала горизонтально, как ошейник.

Так бывает, когда душат сзади. Человек стоит, а другой человек тянет удавку на себя.

Я приподнял голову Карпова и посмотрел ещё раз, внимательнее, под ухом и сзади. Там была и вторая борозда, бледная, косая, уходящая вверх к затылку, без кровоподтёков. Почти незаметная. Её оставила вожжа, когда тело вешали.

Уже мёртвое тело.

Я оттянул пальцем нижнее веко покойного. Белок был усеян мелкими красными точками, как перцем. Петехии. При удавлении их обычно больше, чем при повешении. Обычно. Это я записал бы в «вероятно», но не в «точно».

Борозды давали больше. Не приговор и не готовое заключение — механизм. Первая возникла, пока сердце ещё гнало кровь в повреждённые ткани. Вторая могла остаться уже после смерти. Чтобы превратить это «могла» в «была», требовалось вскрытие.

— Ваше благородие? — Букин переступил с ноги на ногу. — Писать, стало быть, что сам? Вдова там наверху воет, ей бы батюшку… Самоубивца ведь не отпоют. Может, напишем, что в уме повредился? Тогда оно как-то…

Я не ответил. Я смотрел на воротник.

На внутренней стороне ворота, у самого шва, прилипла крошка. Маленькая, с половину ногтя, тёмно-красная, глянцевая на сломе. Я подцепил её ногтем. Твёрдая. Понюхал. Пахло смолой и чем-то горьким.

Сургуч.

Не воск от свечи, не краска. Сургуч, которым запечатывают конверты и казённые пакеты. В лавке скобяного товара.

У меня не было ни пакета для вещдоков, ни пинцета, ни фотоаппарата. Был носовой платок, не очень свежий. Я завернул в него крошку, сложил платок вчетверо и убрал во внутренний карман.

— Это что ж такое? — спросил Букин.

— Мусор, — сказал я. — Вожжа чья?

— Так его же, Карпова. В конюшне на дворе висят. У него лошадь своя, мерин.

Я встал, подошёл к прилавку и посмотрел вверх, на обрезок на крюке. Вожжа сыромятная, толстая, на крюке завязана в два оборота, а потом узлом, хитрым, аккуратным, с перехлёстом. Не бабьим узлом, каким вяжут бельё, и не тем, каким мужик запрягает лошадь. Я такие видел у яхтсменов на Пироговском водохранилище, но названия не помнил.

Табурет лежал на боку метрах в двух от крюка. Метрах в двух. Ногами так не оттолкнёшь, разве что ты прыгун в длину.

— Табурет кто двигал?

— Никто, ваше благородие. Как лежал, так и лежит. Я ж понимаю.

Я посмотрел на Букина. Он смотрел на меня. И, кажется, впервые за всё утро начинал понимать, что бумаги к вечеру может и не быть.

— Самоубийство, ваше благородие? — спросил он ещё раз, уже без надежды. — Писать?

Я обтёр пальцы о шинель.

— Пиши, — сказал я. — Пиши: убийство.

* * *

Стало очень тихо. Даже толпа за дверью, кажется, замолчала, хотя слышать меня она не могла.

Букин открыл рот. Закрыл. Посмотрел на тело, потом на меня, потом в угол, где висела икона, и перекрестился.

— Как же… — сказал он. — Да кому ж… Ваше благородие, вы уж простите, а только вы того… вы уверены?

— Уверен.

— Да я ж не к тому. — Он понизил голос и шагнул ближе, обдав меня запахом лука. — Я ж к тому, что сами-то вы… Неловко ведь выйдет.

— Что неловко?

Букин помялся. Шапка в его руках скрутилась в жгут.

— Так ведь вы ж вчера тут были, Алексей Николаевич, — сказал он почти шёпотом. — Днём, после обеда. С покойником ругались, на всю улицу было слышно. Он вам кулаком грозил. Кричал, что в часть пойдёт, что в сыскную напишет, что выведет вас на чистую воду. Полулицы видало. А вы ему: «Подавишься ты своими деньгами». Вот как сказали.

Я молчал.

Тело Сабурова ничего мне не подсказывало. Ни картинки, ни звука. Только где-то внутри, под рёбрами, что-то неприятно сжалось, как сжимается у подозреваемого, когда ему показывают запись с камеры.

— Деньги, — повторил я. — Какие деньги?

Букин вздохнул, расстегнул шинель и достал из-за пазухи бумажку, сложенную вчетверо, засаленную на сгибах.

— У него в жилете была, в том кармане, что без часов, — сказал он виновато. — Он её вчера с утра всё доставал да показывал. Мне показывал, дворнику показывал. Говорил: вот, мол, благородие ваше сыскное, полюбуйтесь. А нынче, как сняли его, я её сразу и прибрал, ей-богу. Чтобы люди не болтали.

Я развернул.

Почерк был с завитушками и с ятями. Тот самый почерк, которым тело Сабурова, я был в этом уверен, умело писать лучше меня.

«Сим обязуюсь возвратить купцу Ефиму Петровичу Карпову взятые у него в долг сорок рублей серебром не позже 1 декабря сего 1880 года. Младший надзиратель московской сыскной полиции Алексей Сабуров».

Срок вышел восемь дней назад.

А человек, который вчера при свидетелях грозился отправить меня под суд, лежал у моих ног с горизонтальной бороздой на шее.



Глава 2. Запертая дверь

«Полицейский чин, прибывший на место происшествия, обязан прежде всего не допускать никого к телу и к предметам, могущим служить к обнаружению истины, и ничего самому не трогать без надобности».
Из наставления полицейским чинам

Расписку я сложил и убрал в тот же карман, где лежал платок с сургучом.

Букин проследил за моей рукой. Ничего не сказал, но шапку мять перестал.

Я понимал, как это выглядит. Подозреваемый прячет улику против себя, а единственный свидетель — околоточный, который сам только что её «прибрал». В моём времени за такое снимали с дела и правильно делали.

Только снять меня было некому, а без меня Карпова похоронят как удавленника, за оградой, и никто никогда не узнает, кто затянул ему вожжу на горле.

— Приобщу к делу, — сказал я. — В рапорте укажу, где найдена и кем. Слово в слово, как ты рассказал.

— Да я разве… — Букин махнул рукой. — Ваше дело, ваше благородие.

Хорошо. Значит, рапорт я напишу сам. Честный рапорт, в котором главный подозреваемый — автор рапорта. Стажёры бы оценили.

* * *

Начинать надо с того, что не уйдёт. Тело уже никуда не денется, а вот всё остальное — затопчут, переставят, приберут из лучших побуждений.

Я обошёл лавку медленно, по кругу, вдоль стен. Так меня когда-то учил старый эксперт Палыч, который выезжал ещё на советские трупы: «Сначала глазами, Дима. Руками потом. Глаза не оставляют следов».

Полки. Подковы, гвозди, петли, замки. Всё разложено по ящикам, всё подписано мелом: «4 вершка», «шорные», «дверные». Аккуратист был покойник. На полу чисто, вчера подметено, только у входа натоптано сегодняшним — Букин, Фрол, городовой.

Прилавок. На краю стоят счёты, рядом медная чернильница, перо. Под прилавком выдвижной ящик для денег. Выдвинут на ладонь.

Я выдвинул его до конца, взявшись за край снизу, где не хватаются рукой. Привычка. Здесь отпечатки снимать некому и нечем, но привычке не объяснишь.

В ящике лежала медь. Копейки, грошики, полушки, может, на рубль с мелочью. И пустые деревянные ячейки для бумажных денег.

— Грабёж! — выдохнул Букин у меня за плечом.

— Часы на нём, — сказал я. — Цепочка серебряная. Грабитель берёт часы первыми: их проще продать и легче унести.

— Так, может, спугнули?

— Может.

Я закрыл ящик. Это «может» мне не нравилось. Убийца, который устраивает целый спектакль с вожжой и крюком, и вор, который выгребает кассу, — это разные люди. Или один человек, у которого очень плохо с логикой.

За прилавком, на полке у конторки, стояла лампа.

Обычная керосиновая лампа с медным резервуаром и стеклом-пузырём, такая, которую вешают на крюк за дужку. Стекло было целое и почти чистое. Я присел, чтобы посмотреть на

него на просвет. Копоти по верху — тоненький серый налёт. Так бывает, когда лампа горела недолго.

— Эта лампа где обычно висит?

— Да там же, — Букин кивнул на потолок. — На крюке. Завсегда там висела, сколько я его знаю. Над прилавком, чтоб на товар светило.

Я поднял лампу и покачал. Внутри тяжело плеснуло. Полная или почти полная.

Хорошо. Допустим, купец решил удавиться. Он закрывает лавку, задвигает засов, гасит лампу, снимает её с крюка, аккуратно ставит на полку — в темноте ставит, заметьте. Потом в темноте влезает на табурет, в темноте привязывает вожжу хитрым узлом и прыгает так, что табурет улетает на сажень в сторону.

Бывают люди, которые и не такое делают в темноте. Я на них насмотрелся. Но у таких людей не бывает горизонтальной борозды.

Я достал из кармана огрызок карандаша, найденный там же ещё в сыскном, и на обороте собственной расписки — другой бумаги не было — записал столбиком:

1. Борозда горизонт. + вторая, косая, слабая. Задушен, потом подвешен.

2. Сургуч на вороте, внутри.

3. Табурет — на сажень от крюка.

4. Лампа: снята с крюка, стоит на полке, керосин почти полный, копоти мало. Горела недолго. Когда погасили?

5. Касса пустая, часы на месте.

6. Узел на вожже — морской? Кто вяжет такие?

Список вышел короткий, но честный. Ни одной версии, только факты. Версии потом.

* * *

Сверху, с лестницы, раздался голос:

— Долго ещё мне ждать, господин надзиратель?

Голос был женский, низкий, певучий, с купеческой оттяжкой на гласных. И с таким холодом, что Букин сдёрнул шапку и вытянулся.

По узкой деревянной лестнице, которая вела из лавки на жилую половину, спускалась женщина. Лет тридцати пяти, высокая, в чёрном шерстяном платье и чёрной шали, наброшенной на плечи. Тёмные волосы гладко зачёсаны. Лицо красивое, тяжеловатое, с крупным ртом. Глаза сухие.

Я двадцать лет смотрел на вдов. Плачут по-разному. Кто-то воет, кто-то каменеет, кто-то смеётся, и это страшнее всего. Сухие глаза ещё ничего не значат.

Но Букин сказал, что вдова «воет». Значит, выла она для улицы, а сейчас улицы не было.

— Аграфена Тимофеевна Карпова, — представилась она, остановившись на последней ступеньке, чтобы смотреть на меня сверху. — Супруга… вдова. Вы, стало быть, из сыскной.

— Сабуров, — сказал я. — Примите соболезнования.

— Знаю, что Сабуров. — Она чуть приподняла бровь. — Кто ж вас на Гончарной не знает, Алексей Николаевич.

Она прошла мимо меня к телу. Постояла над мужем. Перекрестилась — быстро, привычно — и поправила на нём газету так, чтобы закрыть лицо. Пальцы у неё не дрожали.

— Батюшка придёт к обеду, — сказала она, не оборачиваясь. — Отпевать его не станут, если вы напишете, что сам. Ефим Петрович сорок лет в церковь ходил, на храм жертвовал, а лежать будет за оградой, как собака. Так не годится.

— Не годится, — согласился я.

Она обернулась. Подошла ближе, на полшага ближе, чем подходят к посторонним. От неё пахло ладаном и чем-то сладким, вроде помады.

— Напишите, что сердце, — сказала она тихо. — Удар. С кем не бывает, человек в летах. Полицейский доктор подпишет, у него дочь замуж выдаётся, ему расходы. А вам…

Её рука скользнула к моей и вложила в неё сложенную бумажку. Плотную, гладкую. Я не стал смотреть, но по толщине понял: не рубль.

— Двадцать пять, — сказала она одними губами. — И расписку вашу никто не вспомнит. Я ведь знаю, Алексей Николаевич, сколько вы ему должны. Ефим мне всё рассказывал.

Двадцать пять рублей. Почти месячное жалованье Сабурова, если я правильно понимал местные цены. И первая взятка в моей новой жизни, предложенная раньше обеда.

В моей старой жизни мне тоже предлагали. Чаще бутылку, иногда конверт. Я не брал не из благородства, а потому, что однажды видел, как берущих выводят из кабинета в наручниках, и выражение их лиц мне не понравилось.

Я вернул ей бумажку так же тихо, как она её дала.

— Сердце тут ни при чём, Аграфена Тимофеевна. Вашего мужа убили.

Я ждал чего угодно. Крика, слёз, обморока, ругани. Купчихи в романах падают в обморок.

Она не упала. Она побелела — разом, до губ, так что на лице проступили веснушки, которых я раньше не заметил. И отступила на шаг, к лестнице. Рукой нащупала перила за спиной.

Она не играла. Я слишком часто видел, как люди изображают страх для протокола, и слишком часто — как забывают изображать его между вопросами. Аграфена Тимофеевна боялась по-настоящему. Только непонятно чего: того, что мужа убили, или того, что я это понял.

— Как — убили? — спросила она шёпотом.

— Задушили. Потом подвесили, чтобы было похоже, будто сам.

— Кто?

— Это я и выясняю. Когда вы видели его в последний раз?

Она помолчала. Я видел, как она собирается, как за лицом идёт быстрая работа: что сказать, о чём промолчать. Умная женщина. Опасная для следствия.

— Вчера, — сказала она наконец. — В пятом часу. Он лавку раньше закрыл, сказал, дела у него. Семёна отпустил, а меня… я к сестре ушла, на Швивую горку. Вернулась поздно, около десяти. В лавке темно. Я подумала, он лёг уже. Поднялась к себе.

— Вы спите отдельно?

Она вскинула подбородок.

— А вам что за дело?

— Если бы вы спали вместе, вы бы заметили, что его нет.

— Отдельно, — сказала она коротко. — Он храпит. Храпел.

— Кто такой Семён?

— Приказчик. Лыков Семён. — Её голос стал ровнее, будто она ступила на твёрдую землю. — Вот кого вам искать надобно, господин надзиратель. Вчера он жалованье должен был получить. А нынче утром его нет. И у себя не ночевал, я посылала. И касса пустая.

Она помолчала и добавила, глядя мне прямо в глаза:

— И ключ от чёрного хода у него свой. Ефим ему доверял.

* * *

Двор у Карпова был узкий, длинный, зажатый между лавкой и соседним забором. В глубине стояли конюшня и сарай, у ворот будка дворника. Всё под снегом.

Снег шёл ночью, это было видно сразу: ровный, пушистый, на четверть аршина, без единого следа, кроме сегодняшних. Утренняя тропинка от будки к чёрному ходу, тропинка от ворот, натоптанное пятно у крыльца.

Если ночью кто-то и уходил этим двором, следы его давно лежали под снегом. Я постоял, посмотрел на это белое безмолвие и мысленно попрощался с ними.

Чёрный ход — низкая дверь, обитая железом, под маленьким навесом. Под навес снег почти не намело, на досках крыльца лежала только тонкая белая пыль.

Я присел.

Ничего. Ни окурка, ни пуговицы, ни следа сапога. Сыщики в книгах всегда находят у двери пуговицу. Мне досталась пыль.

А вот дверь была интереснее.

На ней висел внутренний замок, врезной, с медной накладкой и скважиной снаружи. И изнутри — засов. Засов был отодвинут.

— Фрол! — позвал я.

Дворник подошёл не сразу. Мужик лет пятидесяти, в тулупе, подпоясанном верёвкой, с бородой, в которой застряли соломинки. Он шёл ко мне так, как подходят к злой собаке: боком, с опаской.

— Утром эта дверь как была? Открыта, заперта?

— Заперта, ваше благородие. На ключ.

— Снаружи на ключ?

— Так точно. Я ж первым делом сюда и сунулся, как хозяин мерина кормить не вышел. Он завсегда сам, в шесть часов, а тут нету. Я в дверь — заперто. Я к лавке, а там ставни. Глянул в щель, а там он… — Фрол перекрестился. — Я за господином околоточным. Мы с парадного засов-то и выбили.

— Парадная дверь была на засове изнутри?

— Изнутри, ваше благородие. Как всегда на ночь.

Букин, который вышел за мной на крыльцо, кивнул: так.

Я вернулся в лавку, к телу. Отвернул газету с другой стороны. На поясе у Карпова, на ремешке, висела связка ключей. Большая, тяжёлая, ключей десять. Я перебрал их и нашёл тот, что подходил по размеру к скважине чёрного хода. Сходил, проверил. Подошёл.

Ключ от чёрного хода висел на поясе у мёртвого.

Значит, так. Парадная заперта изнутри. Чёрный ход — снаружи, на ключ. Хозяин внутри, мёртвый, и его ключ при нём.

Кто-то вышел через чёрный ход и запер его за собой своим ключом. Удавленники так не делают. Удавленники вообще мало что делают после того, как удавились.

— Ключ от этой двери у кого ещё есть? — спросил я Фрола.

— У хозяина. И у Семёна, у приказчика. Больше ни у кого. Хозяйке без надобности, она через лавку ходит.

Ни у кого. Это «ни у кого» дворники говорят про всё на свете. Обычно оно означает «ни у кого, о ком я знаю».

Я вписал в свой столбик на обороте расписки:

7. Парадная — засов изнутри. Чёрный ход — на ключ снаружи. Ключ хозяина — на нём. Второй ключ — у Семёна Лыкова (пропал). Третий?

Подумал и подчеркнул «третий» дважды.

* * *

Фрол всё не уходил.

Он стоял у двери чёрного хода и мял бороду, как Букин мял шапку. Видимо, на Гончарной это заменяло людям курение.

— Что-то ещё? — спросил я.

Он оглянулся на лавку, куда Букин уже ушёл обратно к телу. Потом снова на меня. И понизил голос до того шёпота, каким в деревнях говорят о покойниках и о начальстве.

— Ваше благородие… Вы уж не гневайтесь. Я ведь не со зла. Я господину околоточному не сказывал и никому не скажу, коли велите.

— Говори.

— Я вчера, как темнеть стало, ворота запирал. Часу в шестом, без четверти, может. Фонарь у ворот засветил. — Он сглотнул. — А тут дверь эта, чёрная, скрипнула. И из неё человек вышел. В шинели, воротник поднят, высокий. Мимо меня к калитке, быстро так, и за угол.

— Лицо видел?

— Темно было, ваше благородие. Фонарь-то у ворот, а он сбоку прошёл. Лица не видал.

— Тогда почему…

— Так ведь фуражка, ваше благородие, — сказал Фрол совсем тихо. — Казённая фуражка, с кокардой. Блеснула. И росту вашего. И вы ж днём сами тут были, с хозяином-то ругались, грозились.

Он посмотрел на меня жалобно, почти с сочувствием, как смотрят на человека, которого жалко, но который сам виноват.

— Я так и подумал, что это вы, Алексей Николаевич. Опять за распиской своей приходили.

Глава 3. Свидетель обвинения

«Показания очевидца надлежит записывать с его слов, без прибавлений и поправок, хотя бы они казались чиновнику невероятными или для него неприятными».
Из руководства для чинов сыскной полиции

Двадцать лет я слышал на допросах «это был он». Впервые «он» оказался мной.

Фрол смотрел с сочувствием. Так смотрят на человека, который сам сел на гвоздь и теперь удивляется.

— Когда ты решил, что это был я? — спросил я. — Вчера вечером или сегодня, когда нашли хозяина?

Он поскрёб бороду. Соломинка выпала и застряла в рукаве тулупа.

— Вчера подумал. А сегодня, как вынули, ещё крепче подумал. Только…

— Только?

— Вы не гневайтесь.

— Фрол, я не гневаюсь. Я записываю. Это хуже.

Он, кажется, понял. Или понял только про «хуже».

— Идёт он не по-вашему, — сказал Фрол. — Тот. Ровно шёл, споро, как по линейке. А вы, Алексей Николаевич, извиняйте, который месяц ходите так, будто пол под вами ездит. Вот я и думаю: то ли вы, то ли не вы. Ночью, думаю, примерещилось.

— А вчера днём я как ходил?

— Вчера днём вы злой были. — Он вздохнул. — Вы когда злой, тоже прямо ходите.

Спасибо. Показание о том, что подозреваемый ходит ровно только в ярости, я бы в любом протоколе подчеркнул красным. Оно не оправдывало и не обвиняло. Оно лежало ровно посередине между «я» и «не я» и не желало склоняться ни в чью сторону. Хороший свидетель: честный и без воображения. Такие тяжелее всего весят на суде.

— Теперь по порядку, — сказал я. — Время.

— Часу в шестом, без четверти. Вечерню у Николы только отзвонили, я как раз калитку хотел запирать.

— Где стоял?

— У ворот, вот тут. — Он показал на калитку, шагах в двадцати от чёрного хода. — Фонарь засвечивал.

Двадцать шагов, декабрьские сумерки, фонарь у ворот и человек, прошедший вдоль стены, в тени. Для лица мало. Для фуражки хватило.

— Из двери он вышел один?

— Один.

— Что-нибудь нёс? Мешок, свёрток?

— Руки в карманах, ваше благородие. Не нёс.

— Дверь за собой запирал? Ключ слышал?

Фрол открыл рот и закрыл.

— Скрип слыхал. Петли у ней немазаные, хозяин масла жалел. А больше… — Он развёл руками. — Я на него глядел, а не на дверь. Не скажу.

Вопрос о ключе повисал вместе со всеми остальными. Вопросы во дворе размножались быстрее, чем следы.

— Он пошёл куда?

— В калитку, налево. К церкви. Быстро.

— Шинель какого цвета?

— В потёмках, ваше благородие, все шинели серые.

— Рост?

— С вас.

— Лицо?

— Я ж говорил: не видал.

— Тогда запомни одну вещь, — сказал я. — Ты видел человека в шинели и фуражке, роста с меня, который вышел из чёрного хода и пошёл налево. Всё. Что это был Сабуров, ты не видел. Ты так подумал. Это разные вещи. Повтори.

Фрол повторил. Не сразу, шевеля губами, как на уроке Закона Божьего, но повторил.

— Господину околоточному скажешь то же. И приставу, и следователю, если спросят. Слово в слово, без «подумал».

— Так ведь… — Фрол оглянулся на лавку и совсем понизил голос. — Вас же под суд, ваше благородие. Я думал, вы велите промолчать. Я бы и промолчал. Вы человек не злой, только слабый, а Ефим Петрович вас шибко поедом ел.

Он ждал, что я скажу: молчи. Это было бы просто и даже, наверное, умно: одно слово, один свидетель, одна тайна на двоих. Тело Сабурова, судя по тому, как Фрол ко мне подходил, давно привыкло улаживать такие вещи дворнику за рубль.

Но свидетель, которому велели молчать, молчит до первого серьёзного вопроса. Потом он выкладывает всё сразу, с подробностями, которых не было, и с обидой на того, кто велел. А следователь, услышав, что подозреваемый просил скрыть показания, не станет разбирать, какие они были.

И было ещё одно соображение, менее практичное. Двадцать лет я ненавидел коллег, которые прятали то, что им мешало. Начинать с этого в 1880-м было бы глупо.

— Не велю, — сказал я. — Иди во двор, Фрол. И никуда не уходи, пока я не отпущу.

— Слушаюсь. — Он сделал два шага и обернулся. — Ваше благородие. А вы правда его не… того?

— Не знаю, — сказал я.

Это была самая честная фраза за утро. Фрол посмотрел на меня так, что стало ясно: честность он не оценил.

* * *

Букин ждал в лавке с видом человека, которому доверили подержать чужого младенца.

— Значит, так, — сказал я. — Первое: за полицейским врачом, сейчас же, пусть едет сюда, а не в часть. Второе: тело не трогать, не мыть, никому не показывать. Вожжу и табурет оставить как есть. Третье: приказчик Лыков. Пошлёшь городового, пусть выяснит, где он живёт, ночевал ли там и когда его видели в последний раз.

— Так хозяйка сказала, что посылала уже…

— Пусть сходит ещё раз и спросит не у хозяйки, а у людей.

— Слушаюсь. — Букин заметно повеселел: приказ был понятный. — А лавку как же? Опечатать бы надо, по положению. Народ лезет.

— Печатайте.

Он полез за пазуху, откуда за утро уже появились донесение и чужая расписка, и достал палочку сургуча, огарок свечи и казённую печать на шнурке. Зажёг огарок. Поднёс к нему сургуч.

Потянуло смолой и жжёной канифолью. Знакомый запах: им утром пахло в сыскной. Вот оно, «почему-то сургуч»: дешёвый, казённый, для всей части оптом.

Я достал из кармана платок и развернул. Крошка с воротника Карпова лежала в складке. Я поднёс её к палочке, как сводят двух свидетелей на очной ставке.

Они не были родственниками. У Букина сургуч был цвета кирпича, тусклый, с зернистым изломом. Мой был тёмный, глубокий, как вишнёвая косточка, и глянцевый на сколе. Пахнул он тоже иначе: не канифолью, а чем-то горьким и тонко-сладким, лаковым.

— Это у вас что, ваше благородие? — Букин вытянул шею. — Сургуч? Так вот он, сургуч. Хороший у меня, казённый.

— У тебя плохой, — сказал я. — А этот хороший.

Букин обиделся, но промолчал.

— Тихон Ерофеевич, кто берёт такой? Тёмный, дорогой, на лаке.

Он почесал затылок под шапкой.

— Дорогой-то? Господа нотариусы. Банковские конторы. Чиновники, которые повыше. Дворяне, когда с гербом письма запечатывают. У нас в части такого не бывает, у нас копеечный. — Он вдруг прищурился. — А в лавке он откуда?

— Вот и я хотел бы знать.

Лавочник, торгующий гвоздями и дёгтем, не покупает сургуч по такой цене. Ему незачем. Такой сургуч покупает человек, у которого на столе лежит печать и бумаги, за которые он отвечает. А крошка прилипла к воротнику изнутри: к шее, к рубахе, к ткани. Туда, где оказываются руки того, кто держит сзади.

Круг не сузился, зато сменил масштаб. Хитровский вор, обчистивший кассу, отпадал: он не носит с собой дорогого сургуча. Оставались те, кто носит. И дворник видел человека в фуражке с кокардой, а кокарду в Москве носит половина служилого сословия. Я сам носил.

Я достал карандаш и на обороте расписки дописал в столбик:

8. Сургуч на воротнике: дорогой, тёмный, не казённый. На руках у того, кто сзади.

Версия это или факт, я ещё не знал. Записал как факт: версий хватало и без меня.

* * *

Полицейский врач приехал в двенадцатом часу. Звали его Модест Карлович Зальц: сухой старик в пенсне на чёрном шнурке, с саквояжем, который он держал как знамя. От него пахло камфорой и дорогим табаком, а лицо было такое, как у человека, которого оторвали от завтрака ради покойника и очень рассчитывали, что покойник того стоит.

— Ну-с, где наш висельник? — спросил он вместо приветствия. — Алёша, батенька, вы меня выдернули из-за стола. Господа вешаются в ноябре и в декабре, а стреляются в апреле. Я это говорю тридцать лет и ни разу не ошибся.

Он подошёл к телу, откинул газету, наклонился и некоторое время молчал.

— Классика, — сказал он наконец. — Лицо, язык, борозда. Тут и смотреть нечего.

— Посмотрите шею, — сказал я.

— Я смотрю.

— Нет. Вы видите то, что привыкли видеть. Посмотрите, где идёт борозда.

Зальц посмотрел на меня поверх пенсне. Потом снова на шею. Приподнял голову покойника двумя пальцами, повернул к свету от двери, и я увидел, как его рука остановилась.

— Хм, — сказал он.

— Борозда замкнутая. Горизонтальная, на одном уровне спереди и сзади. А вот здесь, — я показал под ухом, — вторая, косая и слабая. Её оставила вожжа. Без кровоподтёка, потому что к тому времени он уже не жил.

— Позвольте, это вы мне объясняете?

— Нет. Я вам показываю.

Он хмыкнул ещё раз. Достал из кармана лупу, потом платок, протёр лупу. Всё это очень медленно. Я знал такие паузы: человек выигрывает время, чтобы решить, что ему выгоднее увидеть.

— Бывает, — произнёс он наконец, — что при повешении в полувисячем положении…

— Табурет лежит в сажени от крюка. Ногти: сломан на среднем пальце, свежий слом, под ногтями тёмное. Царапин на шее нет, значит, за петлю он не хватался. Душили сзади, и он, судя по ногтю, цеплялся за того, кто стоял у него за спиной.

— Табурет не по моей части, — сказал Зальц, но уже без прежней уверенности.

— Зато по вашей шея.

Тишина. Букин у двери перестал дышать. Наверху, на лестнице, скрипнула ступенька, но никого не было видно.

Зальц выпрямился. Снял пенсне, потёр переносицу. Без пенсне лицо у него стало старое, усталое и неожиданно человеческое.

— Алексей Николаевич, — сказал он тихо, — вы понимаете, что вы сейчас делаете?

— Понимаю.

— Не думаю. Если я напишу «задушен», дело немедленно перейдёт к судебному следователю. Это прокурор, это обыски, это допрос всей Гончарной улицы от дворника до последней кухарки. И в первой строчке списка, батенька, будет ваша фамилия. Вы вчера с ним ругались при полулице. Я об этом узнал ещё по дороге сюда, от извозчика.

— Знаю.

— Я предлагаю вам другое. Написать «самоубийство» и спать спокойно. У вас в руках бумага, у вдовы похороны, у меня завтрак. А убийца…

— Убийца будет жить дальше. И, возможно, захочет ещё.

— Возможно. — Зальц помолчал. — Раньше вы про такие вещи не спрашивали. Вы, батенька, вообще сегодня не похожи на себя. Перегаром от вас несёт по-прежнему, а говорите вы как трезвый. Я, признаться, к этому не привык.

Он был прав, но объяснять я не стал.

— Хорошо, — сказал Зальц. — Вот что я напишу. «Смерть последовала от асфиксии. Способ и обстоятельства подлежат установлению». Это никого не оскорбит и никого не обяжет. Для церкви это значит: не доказано, что сам, и отпевать можно. А вскрытие — через следователя, это уже не моё дело и не ваше.

Не доказано, что сам. Это значило, что вдова получит то, что просила, но совсем не так, как хотела: её мужа похоронят по-людски, а вместе с этим объявят убитым. Так я отнимал у неё одно горе и давал другое.

— Время смерти?

— Не торопите. Окоченение полное, а в таком холоде оно держится долго. С вечера, батенька. Скажем, между пятью и десятью, и не требуйте от меня минут. Врачи не часы.

Между пятью и десятью. Пять часов. А Фрол, если он видел убийцу, а не гостя, сводил их к одной минуте: без четверти шесть. «Если» — слово, на котором держатся все плохие дела.

Зальц защёлкнул саквояж.

— Пришлите ко мне вашу бумагу, когда напишете. И, Алексей Николаевич, — он помедлил у двери, — берегите себя. Вы мне были понятнее, когда пили.

* * *

Тело вынесли в санях, накрытое рогожей. Вдова проводила его с лестницы, не плача и не крестясь, и вернулась к себе. Дверь наверху закрылась негромко, с сухим щелчком.

Я вышел на крыльцо и стоял на морозе, пока Букин отправлял городового на Подколокольный. Снег теперь не был белым: двор истоптали до чёрной грязи, и от ночных следов не осталось даже воспоминаний.

— Ваше благородие, — Букин подошёл ко мне, понизив голос. — Я вот что хотел сказать. Вчера-то вы после ссоры, оно, конечно… Я нынче опросил кого мог. Вас в трактире «Луков» видали, у Таганской, на углу. Половой сказывает: пришли в седьмом часу, сели у окна, сидели до закрытия. Пили много. Тихо сидели.

— До седьмого?

— До седьмого — не знаю. Ругались вы с покойником в третьем часу. Фрол видал, как уходили. А дальше — ни слуху.

Я посчитал на пальцах. Ссора в третьем часу. Трактир в седьмом. Между ними четыре часа, о которых не знал никто, включая меня. Как раз столько, чтобы задушить человека, повесить его на крюке и успеть к открытой бутылке.

В протоколе это называется «время, не обеспеченное свидетельскими показаниями». В жизни это называется «нечем крыть».

А единственный, кто мог бы мне рассказать, где я был вчера с трёх до семи, сидел где-то у меня в голове и, судя по всему, не собирался давать показания.

Глава 4. Чужая комната

«Ссудная касса Н. Шульца. Принято в залог: часы серебряные карманные, с крышкою, гравировка Николаю от сослуживцев. Выдано 6 руб. Срок выкупа — 3 месяца. Залогодатель — А. Н. Сабуров».
Квитанция, найденная в ящике стола

Букин так и не успел опечатать лавку: сначала врач, потом сани, потом вдова на лестнице. Теперь он стоял у парадной двери со своим кирпичным сургучом на шнурке, огарок гас на ветру, и Букин ругался шёпотом, прикрывая огонёк шапкой.

— Погоди, — сказал я. — Не печатай. Мне нужна контора.

— Так ведь народ, ваше благородие…

— Пять минут.

Он вздохнул так, будто я попросил его подождать с печатью до Пасхи, и отступил.

* * *

Контора у Карпова помещалась за прилавком, в закутке за ситцевой занавеской. Конторка, стул с высокой спинкой, над конторкой полка. Утром мне было не до бумаг.

Человек может врать на допросе. То, что он годами пишет для себя, обычно не врёт.

Торговая книга лежала на конторке: толстая, в мраморной бумаге, с кожаным корешком. Я открыл её на последней заполненной странице.

Почерк у покойного был мелкий, старательный, с нажимом. «Гвозди шорные 3 фунта — 45 коп.». «Замок висячий — 1 р. 20 к.». «Подкова 4 шт. — 80 к.».

Восьмое декабря. Внизу подбито: «Итого за день — 31 р. 40 к.».

Тридцать один рубль сорок копеек. А в ящике под прилавком — рубль медью.

Значит, бумажных денег в кассе было рублей тридцать, если он не унёс их наверх. Наверх, по словам вдовы, он вечером не поднимался.

Я поднял глаза на полку.

Псалтирь в чёрном переплёте. «Полный русский письмовник». Две старые торговые книги, такие же мраморные. Жестяная коробка из-под монпансье с перьями. Конторские счёты. Всё в тонкой серой пыли, какая за неделю ложится в любом доме, где топят печь.

А между второй торговой книгой и счётами было пустое место. Шириной пальца в два, может, в два с половиной. И на этом месте пыли не было.

Чистый прямоугольник на доске. Здесь долго стояла книга, толстая, вершка в полтора, и стояла до самого недавнего времени.

Я провёл пальцем по краю полосы. Край чёткий, пыль не сдвинута. Книгу вынимали аккуратно, а не выдёргивали в спешке.

Вор, который берёт деньги, книг не берёт. Купеческая книга на Сухаревке стоит дешевле бумаги, на которой написана. Если только в ней не записано что-то такое, за что люди готовы платить.

— Тихон Ерофеевич! Что покойный держал на полке? Вот здесь, между счётами и книгой.

Букин сунулся за занавеску, посмотрел и развёл руками.

— Не могу знать. Я в контору к нему не хаживал. Это у хозяйки спросите.

Хозяйка скажет ровно то, что сочтёт нужным. Наверху было тихо.

Я достал расписку и дописал под восьмым пунктом:

9. Выручка 8.XII — 31 р. 40 к. В кассе ок. 1 р. медью. Нет бумажных ок. 30 р.

10. Полка над конторкой: пустое место без пыли, ок. 1,5 вершка. Книга. Взята недавно, аккуратно.

Подчеркнул «аккуратно» и вышел.

— Печатай.

* * *

Рапорт ждали к вечеру. Но перед тем как объяснять человеку с бакенбардами, почему бумага будет не та, мне нужно было понять одну вещь.

Кто такой Алексей Сабуров.

Не по слухам и не по жалостливым взглядам дворников, а по его вещам. Вещи врут реже свидетелей: их никто не готовит к допросу.

Сложность была в том, что я не знал, где он живёт.

Я вышел на Гончарную и постоял у тумбы с афишами. Голова почти прошла, осталась тупая тяжесть в затылке и сосущая пустота в желудке. Тело хотело есть. И пить, причём не чаю.

Извозчика я звать не стал: в кармане оставалось семьдесят копеек от рубля Свешникова, а адреса для извозчика у меня всё равно не было. Сунул руки в карманы и пошёл туда, куда понесли ноги.

Ноги понесли вниз, к Яузе, потом налево, переулками. Я старался не думать, просто идти, как идёшь домой поздно ночью, когда думать уже нечем. Сначала не получалось, потом стало проще. Тело узнавало повороты раньше, чем я успевал их заметить.

Лавка с калачами — тело замедлило шаг, и рот наполнился слюной: здесь он брал по утрам калач. Кабак с зелёной дверью — тело дёрнулось к ней, коротко, как собака на поводке, и я его удержал. Церковь. Колодец под шатром. Забор, через который свешивалась заснеженная рябина.

Переулок назывался Николоямский. Я прочёл это на угловом доме и почему-то не удивился.

Деревянный дом в два этажа с мезонином, выкрашенный когда-то в жёлтый. Калитка. Тропинка в снегу. Крыльцо.

Ноги остановились.

* * *

Дверь открыла старуха.

Маленькая, сухая, в тёмном платке и меховой душегрейке, лицо как печёное яблоко. Глаза светлые, цепкие и очень сердитые.

— Явился, — сказала она. — Ну, слава тебе господи. Живой.

И перекрестила меня быстро и сердито, как замахиваются.

— Здравствуйте, — сказал я.

— «Здравствуйте»! — передразнила она. — Это ты мне, Алёшенька, «здравствуйте»? Ты где был? Всю ночь глаз не сомкнула, лампадку жгла. Думала, в Яузе тебя выловят, как Митрофанова с Покровки. Заходи, чего стоишь. Студишь.

В сенях пахло квашеной капустой, лампадным маслом и котом. Кот сидел тут же на сундуке, огромный, серый, и смотрел на меня с тем же выражением, что и хозяйка.

— Марфа Ильинична, — сказал я наугад, потому что тело вдруг подсказало имя, легко, как подсказывают имя соседа по лестничной клетке.

— Она самая. — Старуха уже тащила меня за рукав в кухню. — Садись. Щи с грибами, вчерашние, тебе оставляла. Пост ведь, а ты всё скоромное по трактирам. Ешь, потом говорить будем. На тебе лица нет.

Я сел. Она поставила передо мной глиняную миску, отрезала хлеба, положила деревянную ложку. Щи были горячие, кислые, с белыми грибами, и я съел их так, как не ел ничего

лет десять. Ело тело, а я смотрел: русская печь, ухваты, полка с горшками, икона в углу, на подоконнике герань.

На гвозде у двери висела грифельная доска. Мелом, крупно: «А. Н. — за окт. и ноябрь не плачено. 14 р.».

Марфа Ильинична проследила мой взгляд и поджала губы, но про доску ничего не сказала. Села напротив, подперла щёку.

— Вчера, — сказала она, когда я доел. — Вчера ты в пятом часу забегал. Помнишь хоть?

— Плохо помню.

— Плохо он помнит. — Она покачала головой. — Красный весь, злой. Я тебе: «Алёша, поешь». А ты мимо, наверх, в ящике пошарил — и обратно. Я в окно гляжу, а ты к Яузе бегом. И на пороге ещё сказал: «Пойду с одним разберусь, Марфа Ильинична, сколько можно». Я тебе вслед: «С кем?» А тебя уж нету.

Я положил ложку.

— Сколько было времени? Точно.

— Точно ему. — Она подумала. — Темнеть начинало. Самовар я ставила, а ставлю я его, как у Николы к вечерне соберутся. Половина пятого, стало быть. Не позже.

— В ящике, — сказал я. — Что я взял в ящике?

Старуха посмотрела на меня долго и странно, будто проверяла, не издеваюсь ли я.

— А то сам не знаешь, — сказала она тихо. — Пистолет твой. Я видела, как ты его за пазуху сунул. Я ещё подумала: господи, Алёша, да кого ж ты…

Она не договорила. Перекрестилась на икону, на этот раз медленно.

— А нынче с утра, — сказала она, — молочница говорит: на Гончарной Карпов удавился. Это которому ты должен. Я, грешница, полдня об одном думаю.

— О чём?

— Что не удавился он.

В кухне было тепло, тикали ходики, и от этого тепла слова старухи звучали ещё хуже.

— Не удавился, — сказал я. — Его задушили.

Она охнула и прижала ладонь ко рту.

— Не я, — сказал я. Подумал и добавил честнее: — Я так думаю, что не я.

— Думает он, — прошептала Марфа Ильинична. — Господи, вразуми ты его.

Двадцать лет я слушал, как матери, жёны и квартирные хозяйки дают показания на тех, кого любят. Они всегда говорят больше, чем хотят. Всё, что Марфа Ильинична сказала мне, она скажет и следователю.

Половина пятого — дома, с пистолетом за пазухой и словами «пойду с одним разберусь». Без четверти шесть — человек в фуражке у чёрного хода.

От Николоямского до Гончарной было минут пятнадцать пешком. Я только что прошёл этот путь.

— Спасибо за щи, — сказал я и встал.

* * *

Комната Сабурова была наверху, в мезонине. Узкая, с косым потолком и маленьким окном на переулок. Кровать, застеленная кое-как. Стол. Стул. Сундук. Вешалка. Икона, перед которой давно не зажигали лампадки. Медный умывальник, над ним зеркало в деревянной раме, мутное по краям.

Я подошёл к зеркалу.

На меня смотрел молодой человек. Худое лицо с запавшими щеками, высокий лоб, русые волосы, слипшиеся на висках. Нос с горбинкой. Глаза серые, покрасневшие, с тяжёлыми веками. Под носом жидкие усики, которые явно должны были делать его старше, а делали только жалким. На подбородке короткий косой шрам, белый, как от удара перстнем.

Неплохое лицо. Умное. Испорченное, но не до конца.

Это лицо мне предстояло носить, возможно, до конца жизни.

Я долго на него смотрел. Потом взял с полки над умывальником бритву с костяной ручкой и открыл. Такими я в жизни не брился. Помазок, обмылок, вода в кувшине, холодная, с тонкой корочкой льда у края.

Руки опять всё сделали сами. Намылили, натянули кожу, повели лезвие короткими движениями. Я только смотрел и старался им не мешать.

Усики упали в таз. Лицо в зеркале стало моложе и злее. Так было лучше: оно хотя бы перестало быть похожим на чужое.

* * *

Потом я сделал то, что делаю всегда. Осмотр.

Кровать. Под подушкой ничего, под тюфяком пачка писем, перевязанных бечёвкой. Почерк женский, округлый, старательный: «Милому сыну Алёше от маменьки». Калуга, штемпели за последний год. Верхние четыре письма не вскрыты.

Я подержал их в руке и положил обратно. Читать их было рано. Или уже поздно, смотря для кого.

Вешалка. Летний сюртук, потёртый на локтях. Второй, почти новый, с бархатным воротником, явно не по жалованью. В карманах огрызок карандаша, пуговица и картонная фишка от карт с номером «17».

Сундук. Бельё, две рубашки, вицмундир, шарф ручной вязки, судя по всему, всё той же маменьки. На дне «Записки охотника» с надписью на форзаце: «Алёше в день окончания гимназии. Будь честен. Папа». 1874 год.

Стол. Ящик выдвигался туго, я дёрнул.

Сверху лежали квитанции. Ссудная касса Шульца, ссудная касса Мейера, частный ломбард на Солянке. Часы серебряные, отцовские, «Николаю от сослуживцев». Портсигар. Шуба енотовая. Кольцо с камнем. Шесть, восемь, пятнадцать рублей. Всё за полгода, у половины срок выкупа истёк.

Под квитанциями — карточные записки. Чужие, ему: «Должен А. Н. С. 3 р.». И его, на обрывках: «Должен П. И. — 50». «Должен П. И. — 25». «П. И. — 30, до Рождества».

П. И.

Я разложил записки на столе и смотрел на них, пока за окном не съехал с крыши пласт снега.

Павел Ильич. Тот самый, с «голубчиком», который утром сунул мне рубль на извозчика и сказал: «Вернёте, когда сможете».

Сто пять рублей. Почти три жалованья. Это не считая сорока Карпову и четырнадцати Марфе Ильиничне. Сабуров был должен всем, кто соглашался давать, и, кажется, только один из кредиторов его никогда не торопил.

Удобный человек Павел Ильич. Человек, которому должны, редко спорит с тобой при начальстве.

Я сложил записки отдельно и полез в глубину ящика.

В глубине, за бумагами, лежал свёрток, а вернее, то, что от него осталось: промасленная тряпка, развёрнутая и брошенная комом. Я расправил её на столе. Ткань хранила форму: длинная полоса вдавлений, изгиб, утолщение. Пахло ружейным маслом, густо и кисло.

Рядом лежал пустой футляр, обтянутый потёртой кожей, с выемкой по форме револьвера. Длинный ствол, рукоять, барабан. Тяжёлая вещь. Армейская.

Под футляром нашлась картонная пачка патронов. Я взвесил её на ладони: полная. Перевернул. Обёртка цела, бандероль не надорвана.

Значит, так. Вчера в половине пятого Сабуров берёт из этого ящика револьвер. Патроны не трогает. Либо револьвер был заряжен заранее, либо стрелять он не собирался. Тогда зачем брать оружие, если не пугать?

«Пойду с одним разберусь». Пугать — это тоже разбираться.

Я вернулся к квитанциям и перебрал их ещё раз, теперь по датам, как перебирают изъятые чеки. Июль. Август. Сентябрь, два раза. Октябрь. Ноябрь.

Последняя была заложена между другими, будто её сунули в ящик второпях, не глядя. Бумага свежая, не мятая, чернила не выцвели.

«Ссудная касса Н. Шульца. Солянка, д. Малюшина. Принято в залог: револьвер системы Смит-Вессон. Выдано 12 руб. 8 декабря 1880 г. Залогодатель — А. Н. Сабуров».

Восьмое декабря.

Я прочёл квитанцию у окна трижды. Дата была. Сумма была. Закорючка приказчика тоже была.

Времени не было.

Двенадцать рублей. Он побежал не к Карпову с револьвером, а на Солянку, к Шульцу, заложить этот револьвер. «Разберусь» значило: достану денег. Хотя бы часть. Швырну в лицо.

Это была хорошая версия. Она мне нравилась. Именно поэтому я в неё не поверил сразу.

Солянка — за Яузой, отсюда минут двадцать быстрым шагом. Если Сабуров пошёл прямо к Шульцу, он был там к пяти, а без четверти шесть мог сидеть у Шульца или идти от него куда угодно, в том числе на Гончарную. Если же он сначала пошёл на Гончарную, то револьвер был при нём в ту самую минуту, когда Фрол засвечивал фонарь. Заложить его можно и после: с таким грузом пить в трактире неуютно.

Квитанция ничего не доказывала. Она лишь меняла вопрос «где я был» на вопрос «в каком порядке».

А у Шульца есть книга залогов. В книге номер, может быть, час. И приказчик, который вчера видел мои руки, ещё целые или уже сбитые.

Я посмотрел на костяшки. Ссадины подсохли, затянулись тёмной корочкой.

Квитанцию, записки «П. И.» и патроны я сунул в карман шинели. На обороте расписки, где почти не осталось места, дописал:

11. 8.XII, 16:30 — дома, взял револьвер (М. И.). Патроны не взял. Револьвер заложен у Шульца 8.XII, 12 р. Время?

Вопросительный знак вышел жирным: карандаш сломался.

* * *

Внизу хлопнула дверь, и голос Марфы Ильиничны поднялся до той высоты, на которой квартирные хозяйки разговаривают с полицией:

— Да куда ж ты в валенках-то по чистому! Стой, говорю!

По лестнице загрохотали шаги, быстрые и лёгкие. В дверь мезонина ударили кулаком, и, не дожидаясь ответа, в неё просунулась голова: мальчишка лет восемнадцати, курносый, красный от мороза, в казённой шапке набекрень. Агент сыскного. Тело его знало: внутри шевельнулось ленивое узнавание, как при виде старой мебели. Имени не подсказало.

— Алексей Николаевич! — выдохнул он. — Насилу нашёл. Букин сказал, вы домой… Немедля к начальнику. Велено бегом.

— Что случилось?

Он перевёл дух и понизил голос, как будто Марфа Ильинична внизу могла понять, о чём речь:

— Из канцелярии обер-полицмейстера курьер прискакал. С пакетом. Егор Саввич пакет прочли и чернильницей об стену. Про Гончарную. — Мальчишка сглотнул. — И про вас, ваше благородие. По фамилии.

Глава 5. Три дня

«Предлагаю Вашему Высокоблагородию не позже завтрашнего утра донести мне, на каком основании дознание о смерти купца Карпова производит чин вверенного Вам отделения, состоящий, по сведениям пристава Таганской части, в личных денежных расчётах с умершим».
Из предписания обер-полицмейстера начальнику сыскной полиции, 9 декабря 1880 г.

Чернильницу уже подняли. Пятно осталось.

Оно расползлось по штукатурке у двери начальника, тёмно-фиолетовое, с потёками до самого плинтуса, похожее на карту губернии. Писарь в нарукавниках тёр его мокрой тряпкой и только размазывал. Увидев меня, он перестал тереть и посмотрел так, как смотрят на человека, за которым пришли из окружного суда.

— Ждут-с, — сказал он. — Давно ждут.

Агент, который меня привёл, остался в дверях канцелярии. По дороге я узнал, что его зовут Прохор Сорокин, что служит он второй месяц и что «Егор Саввич такого не говорили с самого Гиршмана». Что именно он не говорил с самого Гиршмана, Прохор повторить не решился.

В канцелярии горели две лампы. За окнами уже стояла синяя декабрьская темнота, хотя не было и пяти. Стол Свешникова у печки пустовал: на нём лежала стопка папок, перевязанная шнурком, и стоял стакан в подстаканнике.

Я постучал.

— Войдите!

* * *

Кабинет был небольшой и жаркий. Печь натоплена так, что стёкла запотели. Шкаф с делами, стол под зелёным сукном, над столом тот же Александр Второй, только крупнее и в золочёной раме. На сукне лежал вскрытый пакет с сургучной печатью: орёл, кирпично-красный, казённый.

Егор Саввич Обухов стоял у окна спиной ко мне. Бакенбарды в свете лампы казались серебряными.

— Сабуров, — сказал он, не оборачиваясь. — Подите сюда. Читайте.

Я взял со стола лист. Писарский почерк, ровный, с ятями и завитками. Читалось с трудом, но читалось. Предписание. «Не позже завтрашнего утра». «В личных денежных расчётах с умершим».

— Прочли?

— Прочёл.

— Вслух.

Я прочёл вслух. Голос у Сабурова для таких бумаг подходил плохо: в нём было слишком много хрипотцы и слишком мало почтения.

Обухов повернулся.

— Вы понимаете, — сказал он тихо, и от этого «тихо» Прохор за дверью, кажется, отошёл подальше, — вы понимаете, что меня спрашивают о вас? Меня. Обер-полицмейстер. В тот самый месяц, когда у меня на шее ювелир Гиршман с Кузнецкого моста, и его превосходительство каждое утро интересуется, где брильянты, а я каждое утро отвечаю, что ищем. И вот в этот

месяц мой надзиратель, которого я просил держать подальше от бумаг, едет оформить удавленника и объявляет при народе убийство. Вдова говорит батюшке «убили». Батюшка говорит приходу. Пристав пишет обер-полицмейстеру. А обер-полицмейстер пишет мне, что этот надзиратель был должен покойнику денег!

Последнее слово он выкрикнул. Табакерка в его руке щёлкнула крышкой.

— Был, — сказал я.

— Что «был»?

— Должен. Сорок рублей. Срок вышел первого декабря.

Обухов открыл рот и закрыл. Он ждал, видимо, чего угодно: оправданий, клятв, запаха водки. Но не того, что я соглашусь.

— Сядьте, — сказал он наконец. — Вот там, за столик. Бумага, перо. Рапорт где?

— Не написан.

— Так пишите. Здесь. При мне. Всё, что видели, всё, что делали. Я хочу знать, что ответить его превосходительству до того, как он узнает это от кого-то другого.

* * *

Я сел за маленький столик у стены. Взял перо: стальное, вставленное в деревянную ручку, с обгрызенным концом. Обмакнул.

И тут случилось то, чего я боялся с утра. Я не умел так писать. Я не знал, где ставить ять, а где «е», где нужен твёрдый знак, а где нет. Я писал на клавиатуре двадцать лет, а ручкой только подписывал протоколы.

Я вывел: «Рапортъ».

Твёрдый знак вышел сам. Я его не ставил. Рука просто закончила слово, как заканчивает знакомое движение, и пошла дальше, наклоняя буквы вправо, с нажимом на вертикалях и волосяными линиями на соединениях.

Я перестал ей мешать. Думал словами, а писала она. Получалось медленно, но получалось, и почерк был тот самый, что на расписке в моём кармане.

«Его Высокоблагородию господину начальнику Московской сыскной полиции. Младшего надзирателя Сабурова. Рапорт. Сего 9 декабря, прибыв по распоряжению Вашего Высокоблагородия в лавку купца Карпова на Гончарной улице, я нашёл…»

Дальше я писал так, как писал всю жизнь: по пунктам, без прилагательных. Положение тела. Две борозды, их направление. Сломанный ноготь. Табурет в сажени от крюка. Лампа на полке, полная. Касса без бумажных денег, часы на теле. Чёрный ход, запертый снаружи, ключ хозяина на поясе. Пустое место на полке в конторе. Показание дворника Никитина: время, рост, фуражка, походка. Заключение доктора Зальца, слово в слово.

Сургуч я описал одной строкой: «на внутренней стороне ворота рубахи найдена крошка тёмного сургуча, хранится у меня». Без «дорогой» и без «не казённый». Оценки пусть делает тот, кто будет её смотреть.

Обухов ходил по кабинету за моей спиной. Иногда останавливался и читал через плечо. Дышал табаком.

Последний абзац хотелось обойти. Именно поэтому я его написал.

«Считаю долгом донести, что 8 декабря днём я имел с купцом Карповым ссору из-за долга по расписке в 40 руб. серебром. Расписка найдена околоточным надзирателем Букиным в жилете покойного и передана мне; ныне хранится у меня. Где я находился 8 декабря с трёх до седьмого часа вечера, показать в точности не могу, ибо был нетрезв. Прошу об отстранении меня от дознания в той части, где…»

Рука Обухова опустилась на лист и прижала его к столу.

— Это что?

— Правда, Егор Саввич.

— Это не правда. Это донос. На самого себя. — Он выдернул лист у меня из-под пера, посадив кляксу на «отстранении», и прочёл абзац ещё раз, шевеля бакенбардами. — Вы в своём уме, Сабуров? Вы понимаете, что эту бумагу я обязан буду приложить к ответу его превосходительству?

— Понимаю.

— И что после этого вас не уволят, а отдадут под суд?

— Если не приложите, она всё равно выйдет наружу. Дворник видел человека в фуражке. Хозяйка моя видела, как я брал… — Я запнулся. — Как я уходил злой. Расписку видела вся Гончарная, покойный её всем показывал. Судебный следователь найдёт это за день. И спросит, почему в рапорте сыскной полиции об этом ни слова.

Обухов смотрел на меня поверх листа. Табакерка в левой руке замерла.

Он был неглупый человек. Я это понял ещё утром, по глазам, в которых не было надежды. Глупые надеются до последнего.

— Вы сегодня трезвый, — сказал он медленно.

— С утра.

— И бритый.

— С обеда.

Он хмыкнул. Положил лист на стол, разгладил ладонью, посмотрел на кляксу.

— Доктор Зальц, — сказал он, — прислал мне записку. «Способ и обстоятельства подлежат установлению». Тридцать лет Модест Карлович писал «самоубийство», когда видел удавленника. Сегодня не написал. Почему?

— Потому что я показал ему шею.

— И что на шее?

Я объяснил. Коротко, без латыни: петля, которая тянет вверх, и удавка, которая тянет назад. Взял со стола карандаш и нарисовал на краю промокашки две линии: одну ровную, другую косую.

Обухов смотрел на промокашку долго.

— Значит, так, — сказал он. — Дело всё равно уходит к судебному следователю. Это уже не моя воля. Вопрос, с чем оно туда уйдёт.

— С убийцей, — сказал я. — Или с пьяницей-надзирателем, который сначала нашёл убийство, а потом не смог его доказать.

— Или с пьяницей-надзирателем, который сам убил, — сказал Обухов, — и теперь пишет рапорты, чтобы сбить с толку начальство. Такое тоже бывало, Сабуров. Я тридцать лет на службе.

Он сказал это без злобы, просто перечислил. Я оценил. В моём времени это называлось «рассмотреть все версии», и мало кто из начальства это умел.

— Бывало, — согласился я. — Дайте мне время, Егор Саввич. Я найду, кто это был.

— Сколько?

Я не знал, сколько. В моём мире на раскрытие по горячим следам отводили сутки, двое, потом дело уходило в долгий ящик. Здесь не было ни следов, ни ящика.

— Неделю.

— Три дня, — сказал Обухов. — До вечера пятницы. Его превосходительству я завтра отвечу, что дознание ведёт сыскное отделение и что сведения о долге проверяются. Это правда, и большего он от меня не узнает. — Он взял мой рапорт, аккуратно отделил последний лист, с абзацем и кляксой, сложил вдвое и убрал в ящик стола. Ящик запер маленьким ключиком на цепочке. — А это пока полежит у меня. Найдёте убийцу — я его сожгу при вас. Не найдёте — в субботу утром вы подаёте прошение об отставке, а этот лист уходит к судебному следователю. Вместе с вами.

Ключик звякнул о цепочку.

Это был честный уговор. Жестокий, но честный. Начальник прикрывал себя с обеих сторон и даже не делал вид, что прикрывает меня.

— Слушаюсь, — сказал я. Слово вышло само, тело знало, как отвечают начальству.

* * *

В дверь постучали коротко, по-свойски.

— Позволите, Егор Саввич?

Свешников вошёл, не дожидаясь ответа, и с ним вошёл запах мороза, одеколона и дорогого табака. Шинель с тёмным меховым воротником он оставил в канцелярии, сюртук сидел на нём так, будто сшит вчера. На щеках румянец, в бородке иней.

— Голубчик, — сказал он мне, увидев меня за столиком, — вас уже и не узнать! Побрились? Егор Саввич, полюбуйтесь, человек на глазах воскресает. — И сразу, сменив тон: — Я от Гиршмана. Старик опять рыдает. Ничего нового, кроме слёз. Мои люди на Хитровке говорят, камни ещё не всплывали.

— Сядьте, Павел Ильич, — устало сказал Обухов. — Вы мне нужны.

Свешников сел на стул у печки, закинул ногу на ногу. Перстень на мизинце блеснул.

— Слышали про Гончарную? — спросил Обухов.

— Вся Таганка слышала. — Свешников покачал головой. — Говорят, Алёша там убийство нашёл. Я, признаться, сперва не поверил.

— Нашёл, — сказал Обухов. Он посмотрел на меня, потом на Свешникова, и в голосе у него проскочило что-то похожее на упрёк. — Это ведь вы, Павел Ильич, за него просили. Дайте, говорите, Сабурову это дело, оно пустяковое, пусть хоть бумагу принесёт, человеком себя почувствует. Вот, почувствовал. С предписанием его превосходительства.

— Каюсь, Егор Саввич. — Свешников приложил ладонь к груди. — Моя вина. Я ведь как лучше хотел, по-дружески. Кто ж знал, что купец окажется… с сюрпризом.

Он улыбнулся мне через комнату. Улыбка была тёплая и сочувственная, и я снова подумал о трёх записках в своём кармане.

Сто пять рублей. И дело, которое мне дали по его просьбе.

— Сабуров получил три дня, — сказал Обухов. — Вы ему поможете, Павел Ильич. В той мере, в какой Гиршман позволит.

— С радостью. — Свешников повернулся ко мне всем корпусом. — Голубчик, приказывайте. Приказчик сбежал, я слышал? С кассой? Хотите, мои люди на Хитровке поспрашивают? Беглецы туда как мухи на мёд летят.

— Спасибо, — сказал я. — Пока не надо.

— Как знаете. — Он не обиделся. Он, кажется, вообще не умел обижаться, или очень хорошо этого не показывал. — Но если что — я весь ваш. Mon cher, мы же свои люди.

* * *

Дверь открылась снова, на этот раз без стука, и писарь просунул в щель лысину.

— Ваше высокоблагородие… Господин судебный следователь. Кривцов-с. Просят принять.

Обухов выругался одними губами и одёрнул мундир.

— Просите.

Следователь оказался молодым, лет тридцати, худым, гладко выбритым, в форменном сюртуке судебного ведомства с петлицами. Перчатки он держал в левой руке и постукивал ими по ладони правой, как будто отсчитывал секунды чужого времени. Глаза светлые, внимательные. Лицо из тех, которые не помнят обид, потому что заносят их в протокол.

— Сергей Платонович Кривцов, — представился он Обухову. — Судебный следователь второго участка. Прошу извинить за поздний час. Господин прокурор поручил мне дело о смерти купца Карпова, и я полагал бы неправильным откладывать знакомство с теми, кто вёл дознание до меня.

Он говорил длинными, правильными фразами, без единой запинки, будто читал с листа.

— Весьма рад, — сказал Обухов тоном человека, который ничуть не рад. — Надзиратель Сабуров. Вёл осмотр.

Кривцов повернулся ко мне. Перчатки перестали постукивать.

— Господин Сабуров. Вскрытие назначено на завтра, в девять утра, доктор Зальц любезно согласился. Ваше присутствие было бы мне полезно: вы видели тело первым. — Он помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы следующая фраза прозвучала отдельно. — И позвольте, раз уж случай свёл нас здесь, один вопрос. Я сегодня был на Гончарной и говорил с дворником Никитиным. Он показал всё очень толково и, как он выразился, «без подумал». — Кривцов чуть наклонил голову. — В котором часу вы вчера вышли от купца Карпова? Я имею в виду — во второй раз.

Глава 6. Покойницкая

«Врач может высказать мнение о причине смерти с определённостью, может ограничиться предположениями, а может и вовсе отказаться от суждения, если исследование не дало к тому достаточных оснований».
Из правил о судебно-медицинском исследовании мёртвых тел

— Во второй раз я от Карпова не выходил, — сказал я вчера Кривцову. — Насколько мне известно.

— Насколько вам известно, — повторил он, и перчатки снова застучали по ладони. — То есть возможно, что выходили?

— Я был пьян, Сергей Платонович. С трёх часов до семи я себе не свидетель.

Обухов за моей спиной издал звук, какой издаёт самовар перед тем, как закипеть. Свешников у печки сочувственно вздохнул.

А Кривцов кивнул, словно я ответил ему на вопрос о погоде.

— Благодарю. Это ответ. Он мне не нравится, но это ответ. — Он натянул перчатки. — Завтра в девять, господин Сабуров. Не опаздывайте, пожалуйста: доктор Зальц не любит, когда покойник ждёт.

Ночевал я дома. Марфа Ильинична поставила мне на стол стакан чаю и больше со мной не разговаривала, только крестила дверь, когда я поднимался к себе. Спал я плохо. Тело просыпалось каждый час, сухое, злое, и требовало того, чего я ему не давал.

* * *

В восемь утра я стоял на Солянке.

Дом Малюшина нашёлся легко: трёхэтажный, каменный, с вывесками на каждом этаже. Ссудная касса помещалась внизу, в полуподвале. Пять ступенек вниз, дверь с решётчатым оконцем, на двери жестяная доска с чёрными буквами:

«Ссудная касса Н. Шульца. Приём и выдача залогов съ 10 ч. утра до 6 ч. вечера. По праздникамъ закрыто».

Дверь была заперта. За оконцем темно.

До шести вечера. Я стоял перед доской и считал, хотя считать было почти нечего.

Если Сабуров заложил револьвер восьмого, он заложил его до шести. Без четверти шесть Фрол видел человека у чёрного хода. От Гончарной до Солянки — через Яузу, по мосту, вниз — четверть часа быстрым шагом. Человек, вышедший из лавки Карпова без четверти шесть, мог успеть к Шульцу впритык, к самому закрытию.

А человек, который сидел у Шульца с пяти и торговался, не мог быть на Гончарной.

Ответ лежал за этой дверью, в книге залогов. До него было два часа ожидания, а вскрытие начиналось в девять.

Я постоял ещё минуту и пошёл на Таганку.

В моём мире я бы позвонил. Здесь я мог только вернуться.

* * *

Покойницкая помещалась в подвале при Таганской части: низкий сводчатый потолок, побелённые стены, на которых выступила изморозь, два окна под самым потолком, вровень с землёй, в них виднелись сапоги прохожих. Холод тут был не уличный, а погребной, сырой. Пахло карболкой и тем, чем пахнет в покойницких во все века, — карболка только пыталась это перебить.

Посредине стоял стол, обитый жестью, с желобком по краю. На столе лежал Ефим Карпов.

Без одежды он выглядел меньше и старше. Борода, расчёсанная надвое, теперь торчала клочьями. Трупные пятна густые, тёмно-багровые на голенях и стопах, как у всякого, кто провисел ночь, и слабые, бледные на спине: эти появились уже после того, как тело сняли и положили на рогожу.

Я отметил это и удивился, что отмечаю спокойно. Утром у меня дрожали руки. Здесь, у стола, перестали. Работа лечит лучше рассола.

Модест Карлович Зальц стоял у стола в клеёнчатом фартуке поверх жилета, с засученными рукавами. Пенсне на чёрном шнурке он заправил за пуговицу, чтобы не болталось. На табурете рядом был разложен инструмент: ножи, пила, щипцы, какие-то крючки. Всё вычищенное до блеска.

— А, Алёша, — сказал он, не оборачиваясь. — Батенька, вы вовремя. Сергей Платонович уже пять минут смотрит на часы, а я пять минут делаю вид, что не замечаю.

Кривцов сидел у стены за маленьким столом. Рядом с ним письмоводитель, молодой, с бледным носом, держал перо над листом. У двери жались двое понятых: дворник части в тулупе и лавочник из соседнего ряда в бараньей шапке. Лавочник смотрел в потолок и шевелил губами.

— Начнём, — сказал Кривцов. — Доктор, прошу вас.

Зальц начал.

Он работал не торопясь и вслух, для письмоводителя, длинными фразами, которые я слышал раньше тысячу раз, только на другом языке и другими словами. Рост, сложение, телосложение «крепкое», трупное окоченение «разрешается в мелких суставах». Трупные пятна. Лицо. Язык. Глаза.

Потом шея.

— Странгуляционная борозда, — диктовал Зальц, — в виде двух. Первая: замкнутая, горизонтальная, на уровне верхнего края щитовидного хряща, равномерно вдавленная, шириною в пол-вершка, с осаднением кожи, буровато-красная, плотная на ощупь. Вторая…

Он нагнулся, повернул голову покойника к себе, а я со своего места увидел, как он снова, как вчера, на секунду задержал руку.

— Вторая: незамкнутая, косовосходящая к затылку, бледная, мягкая, без осаднения. Прерывается на затылке.

Письмоводитель скрипел пером. Кривцов слушал, сложив руки на столе.

— Теперь посмотрим, что под ними, — сказал Зальц и взял нож.

Я подошёл ближе. Кривцов поднял на меня глаза, но не возразил.

Зальц вёл послойно, аккуратно, как я видел у лучших наших экспертов: кожа, подкожная клетчатка, мышцы. Под горизонтальной бороздой ткани были пропитаны кровью — тёмные, густые полосы кровоизлияний в мышцах шеи, по всему кругу. Под косой бороздой — чисто. Бледная ткань, сухая, как у куска мяса из лавки.

— Ну-с, — сказал Зальц тихо, уже не для письмоводителя. — Видите, батенька?

— Вижу.

— Под первой кровь. Значит, сердце билось, когда её затягивали. Под второй крови нет. Значит, когда затягивали вторую, сердце уже стояло. — Он помолчал. — Тридцать лет я пишу «самоубийство», когда вижу удавленника. Ни разу не резал шею глубже кожи. Не было нужды.

— А сегодня?

— А сегодня нужда была. — Он поднял на меня глаза от стола. — Вы меня вчера раздразнили, Алёша.

Он выпрямился и снова заговорил в полный голос:

— Под первой бороздой — обширные кровоизлияния в мягких тканях и мышцах шеи. Под второй — кровоизлияний не обнаружено. Хрящи гортани и подъязычная кость целы.

— Это что означает, доктор? — спросил Кривцов. — Простыми словами, для протокола.

— Простыми словами, Сергей Платонович, это означает, что первую петлю на него надели, пока он был жив, а вторую — когда уже не был.

Лавочник у двери перекрестился. Дворник части сглотнул так громко, что я услышал.

— Одной и той же петлёй? — спросил Кривцов.

— Ширина одна, рисунок кожи в бороздах один. — Зальц пожал плечами. — Вожжой, Сергей Платонович. Той самой.

Вожжа лежала тут же, на подоконнике, на газете: длинный кусок, снятый с шеи, и короткий обрезок, который Букин вчера по приказу следователя срезал с крюка вместе с узлом. Кривцов встал, подошёл и наклонился над обрезком. Узел был цел: два оборота и сверху та самая хитрая петля с перехлёстом.

— Что это за узел, господин Сабуров? Вы его вчера, я слышал, запретили трогать.

— Не знаю, как называется, — сказал я честно. — Знаю, как он не называется. Это не бабий узел, каким вяжут бельё, и не тот, каким мужик затягивает супонь. Его вязал человек, который умеет вязать узлы и делает это не думая.

— Карпов умел?

— Спросите вдову и Фрола. Фрол двадцать лет смотрел, как хозяин запрягает.

Кривцов выпрямился и посмотрел на обрезок ещё раз, как смотрят на подпись, которую не могут разобрать.

— Я тоже не знаю, как он называется, — сказал он. — Значит, узнаю.

Он вернулся за стол. Письмоводитель, не дожидаясь приказа, записал: «Узел на обрезке вожжи — сложный, не обиходный».

* * *

Потом были руки.

Зальц поднял правую кисть Карпова, тяжёлую, с толстыми пальцами, и развернул к свету из окна. Сломанный ноготь на среднем. Под ногтями — тёмное, забившееся глубоко.

— Позвольте, Модест Карлович, — сказал я. — Не мойте.

— Я не собирался, батенька. Я, представьте себе, тоже кое-что умею.

Он положил на край стола листок белой бумаги, взял тонкий ланцет и стал вычищать из-под ногтей на бумагу. Медленно, один ноготь за другим. Я смотрел и думал, что в моём мире это называлось «срезы ногтевых пластин», что их упаковывали в отдельные конверты с биркой и через неделю мне звонили из лаборатории с результатом. Здесь не было ни конвертов, ни лаборатории. Был лист бумаги, ланцет и старик, который тридцать лет ни разу не резал шею глубже кожи.

На бумаге собралась тёмная грязь. Кровь, засохшая, бурая. Какие-то ворсинки.

— Лупа есть? — спросил я.

Зальц, не говоря ни слова, вынул из жилетного кармана лупу и протянул мне.

Я нагнулся над бумагой.

Ворсинки были двух сортов. Одни — тёмно-синие, почти чёрные, короткие, курчавые: шерсть, сукно, плотное, валяное. Такое идёт на шинели, на мундиры, на добротные пальто. Другие — тоньше, длиннее, бурые, мягкие, с пушком у основания. Три штуки. Таких я в сукне не встречал.

— Мех, — сказал я.

Зальц забрал у меня лупу и посмотрел сам. Долго, щурясь.

— Мех, — согласился он. — Чей — не спрашивайте. Я не скорняк.

— Сукно тёмное и мех, — сказал я, ни к кому не обращаясь. — Он цеплялся не за удавку. Если бы за удавку, на шее были бы царапины от ногтей. Он тянулся назад и вверх. За того, кто стоял сзади. За воротник.

В подвале стало тихо. Даже письмоводитель перестал писать и посмотрел на Кривцова.

— Запишите, — сказал Кривцов. — «Из-под ногтей правой кисти извлечены: частицы засохшей крови, волокна тёмного сукна и три волоса, по виду мех». Без «воротника». — Он посмотрел на меня. — Воротник — это ваше предположение, господин Сабуров. Хорошее предположение. Но протокол вскрытия пишет доктор.

Бумажку с ворсинками Зальц сложил конвертом. Кривцов дважды обвёл её ниткой, перехлестнул концы и затянул узел, не глядя. Не тот, что был на вожже, — простой канцелярский, — но руки работали с той же привычной быстротой. В полиции и суде каждый день вязали пакеты. Само по себе умение обращаться с бечёвкой не доказывало ничего.

Кривцов запечатал пакет своей печатью. Сургуч у него был обыкновенный, кирпичный, казённый. Я посмотрел, не удержался.

В Москве в декабре мех носит каждый второй. Бобёр, енот, лиса, мерлушка, собачий у извозчиков. Сукно — каждый первый. Под ногтями Карпова был не убийца, а лишь половина Москвы.

Но половина Москвы — это уже меньше, чем вся.

* * *

Желудок Зальц вскрыл последним.

— Каша гречневая, — диктовал он, — капуста квашеная, грибы. Пища переварена частично, комки различимы.

— Постный обед, — сказал Кривцов. — Вдова показала, что обедали в два часа пополудни. Доктор, можно ли по этому…

— Можно ли сказать, когда он умер? — Зальц вытер руки полотенцем. — Можно сказать, что не сразу после обеда и не через восемь часов. Часа через три, через четыре. Может, через пять. Желудок у каждого свой, Сергей Платонович. Один за два часа переварит гвоздь, другой за шесть — кисель не осилит.

— Значит, после пяти вероятнее, чем сразу после обеда, — сказал я. — Но час по одному желудку не поставишь.

— Так и запишем. — Зальц кивнул письмоводителю. — «Вероятно». Обязательно «вероятно».

Вчера было между пятью и десятью. Сегодня окно не стало уже — только один его край сделался вероятнее. Без четверти шесть оставалось внутри, но доказательством времени обед не был. Для этого требовались часы, а мёртвые их не носили. Иногда вместо часов оставалась лампа.

— Ваше заключение, доктор? — спросил Кривцов.

Зальц снял пенсне со шнурка, протёр, надел. Подошёл к столу письмоводителя и продиктовал, медленно, каждое слово отдельно:

— «Найденные при исследовании изменения дают основание предполагать, что смерть последовала от удавления петлёю, причём повешение тела произведено после наступления смерти».

— Предполагать, — повторил Кривцов.

— Предполагать.

— Вы можете сказать это с определённостью?

— Сергей Платонович, — сказал Зальц, — я могу сказать с определённостью только то, что я не Господь Бог. Остальное — в протоколе. Подпишите, господа понятые.

Понятые подписали, лавочник — крестиком, дворник — полным именем, высунув язык. Потом подписал Зальц, потом Кривцов. Мне перо никто не предложил.

Зальц складывал инструменты в саквояж. Проходя мимо, он задержался рядом со мной.

— Удавили, — сказал он одними губами. — Удавили, батенька, тут и думать нечего. Только я этого никогда не напишу, а вы никогда не скажете, что я это говорил. Это вам за то, что вы меня вчера раздразнили.

— Спасибо, Модест Карлович.

— Не за что. Мне не нравится, когда меня держат за дурака. Даже покойники.

Кривцов всё это время собирал бумаги и, кажется, не слушал. Потом сложил протокол, убрал его в портфель, защёлкнул замок. Повернулся ко мне.

— Господин Сабуров. Вы сами только что очень убедительно показали нам, что покойный в последние минуты цеплялся за того, кто стоял у него за спиной. Ногтями. Со всей силы, до слома.

— Да.

— Тогда вы не откажете мне в маленькой формальности. — Перчатки в его руке снова застучали о ладонь, раз, другой. — Покажите, пожалуйста, руки.

Глава 7. Трактир «Луков»

«Водка простая, графинчик — 20 коп. Чай парой — 10 коп. Щи постные с грибами — 15 коп. Баранки, связка — 5 коп. В долг не отпускаем».
Прейскурант на стене трактира «Луков» у Таганской площади.

Я протянул руки над жестяным столом, ладонями вниз, как школьник перед учителем чистописания.

Кривцов не стал их трогать. Он посмотрел на Зальца.

— Доктор, будьте любезны.

Зальц взял мою правую кисть сухими холодными пальцами, повернул к окну, потом левую. Пенсне он снова надел.

— Ссадины на тыльной поверхности основных фаланг, второго и третьего пальцев правой кисти, — сказал он тем же голосом, каким диктовал про Карпова. — Поверхностные, покрыты подсохшей корочкой, давностью около суток. Края неровные, кожа содрана, а не разрезана.

— От ногтей? — спросил Кривцов.

— Нет. — Зальц отпустил мою руку. — Ноготь оставляет полулунную ранку, узкую, с хвостиком, как запятую. А здесь тёрка. Так бывает, когда бьют кулаком во что-то твёрдое и шершавое. В стену. В дверь. В зубы, наконец. В шею, Сергей Платонович, так не бывает.

— Обо что вы били, господин Сабуров?

— Не помню.

Кривцов кивнул письмоводителю, и тот записал. Я видел, как перо выводит «не помнит» и ставит точку.

— Воротник у меня суконный, — сказал я. — Без меха. И шинель серая, а не тёмная.

— Я заметил, — сказал Кривцов. — Ещё вчера. Я также заметил, что у человека, у которого заложены часы, портсигар и шуба, вряд ли есть вторая шинель. — Он натянул перчатки. — Это говорит в вашу пользу, господин Сабуров. Пока что. Всего доброго.

Про шубу я ему не говорил. Шуба лежала квитанцией в ящике моего стола в Николоямском. Значит, кто-то уже рассказал ему о Сабурове больше, чем я.

* * *

В четверть двенадцатого я снова спускался по пяти ступенькам на Солянке. На этот раз дверь была открыта.

Касса Шульца оказалась узкой комнатой, перегороженной поперёк дубовым прилавком с медной решёткой до потолка. За решёткой полки, на полках узлы в холстине с бирками, шубы на вешалках, самовары, подсвечники, гитара без струн. Пахло нафталином, кожей и чужой бедностью.

За решёткой сидел старик в зелёном козырьке и нарукавниках, худой, с длинным белым лицом. Он поднял на меня глаза, и лицо стало ещё длиннее.

— Господин Сабуров, — сказал он. В его выговоре слышалось что-то немецкое, едва заметное, в твёрдых согласных. — Вы за револьвером? Двенадцать рублей и проценты за месяц. Месяц ещё не прошёл, но проценты берутся за месяц.

— Нет. Мне нужна ваша книга залогов. Запись от восьмого числа.

— Зачем?

— Мне нужно знать, в котором часу я его заложил.

Шульц снял козырёк, положил его на прилавок и посмотрел на меня так, будто я принёс ему в залог кота.

— Вы не помните, — сказал он без всякого вопроса в голосе.

— Не помню.

— Книгу залогов я показываю по требованию полиции, господин Сабуров. По бумаге за подписью начальства и с печатью.

— Я из полиции.

— Здесь вы залогодатель, — спокойно сказал Шульц. — Уже полгода. Я помню ваши часы, ваш портсигар и вашу шубу. Полицией вы были где-то в других местах. Принесите бумагу, и я покажу вам всё, что записано. Без бумаги — не могу. Сегодня вы просите книгу для себя, завтра кто-нибудь попросит её про вас.

Он был прав, и это было хуже всего. В моём мире я тоже не выдавал сведений тому, кто пришёл без запроса.

— Кто принимал у меня залог? Вы?

— Гольц, приказчик. Я восьмого был у дочери на именинах. — Шульц надел козырёк обратно. — Гольц говорил, вы шумели. Больше я ничего не знаю и знать не хочу.

— Где Гольц?

— В Туле. У него мать при смерти. Уехал девятого с утренним поездом. Вернётся в понедельник, если мать не умрёт, и позже, если умрёт.

Понедельник. Пятнадцатое. Мои три дня кончались в пятницу вечером.

Бумагу с печатью мог написать Обухов. Обухов спросит, зачем. Я отвечу: чтобы узнать, когда я заложил револьвер, который взял из дома в половине пятого со словами «пойду с одним разберусь». Через час об этом узнает Кривцов, а к вечеру — его превосходительство.

А если запись в книге покажет «без пяти шесть»? Тогда я своими руками принесу следователю лучшую улику против себя.

— Благодарю, — сказал я.

— Не за что, — ответил Шульц. — Проценты, господин Сабуров, идут.

* * *

Трактир «Луков» стоял на углу у Таганской площади: двухэтажный, каменный низ, деревянный верх, над дверью вывеска с нарисованным самоваром и луковицей. Внизу «чистая половина» для купцов и чиновников, наверху для извозчиков. Окна запотели изнутри, и в них двигались тёмные пятна людей.

Тело узнало дверь. Не так, как узнало дом Зотовой — с облегчением, — а по-другому: рот наполнился слюной, в горле стало сухо, и пальцы в кармане сами сложились так, будто держат стопку. Я постоял на пороге, пока это не прошло. Прошло не совсем.

Внутри было жарко и людно. Пар от чайников, табачный дым, запах щей и мокрых тулупов. Над стойкой висел тот самый прейскурант, писанный масляной краской по жести. За стойкой стоял хозяин, Луков, судя по тому, как он держался: толстый, бритый, в жилете и с цепочкой поперёк живота.

Ко мне подлетел половой — молодой, кудрявый, в белой рубахе навыпуск, с полотенцем через плечо.

— Алексей Николаевич! Милости просим. Вам как всегда, к окошку?

«Как всегда». Тело Сабурова здесь было своим.

— Чаю, — сказал я. — И поговорить.

Половой проводил меня к столику у окна, смахнул полотенцем невидимые крошки, принёс чайник, кипяток, сахар в блюдце. Звали его Гриша — он назвался сам, на всякий случай: видимо, уже слышал, что я «не в себе».

Рядом с чайником он поставил графинчик. Маленький, пузатый, запотевший, с гранёной пробкой. Я его не заказывал.

— Это убери.

— Так ведь как всегда-с…

— Убери.

Гриша убрал, но посмотрел на меня так, как смотрят на погоду, которая вдруг переменилась без всякой причины. Графинчик уплыл к стойке на подносе. Тело проводило его глазами, и мне пришлось взять стакан с чаем обеими руками, чтобы им было чем заняться.

— Позавчера, — сказал я. — Восьмого. Я здесь был?

— Были, как не быть. — Гриша оглянулся на стойку и понизил голос. — Тут вас уже спрашивали, ваше благородие. Утром околоточный приходил, вчера. А нынче — господин в перчатках, из суда. Я им всё как есть.

— Что «как есть»?

— Что вы пришли, сели вот сюда, к окну, и сидели тихо, до самого закрытия. — Он наклонился ещё ниже. — А в котором часу пришли, они допытывались. Я сказал — не упомню точно.

— А точно?

Гриша посмотрел на меня, потом в окно, потом снова на меня. Глаза у него были бойкие, быстрые, и в них шёл тот же подсчёт, что вчера у вдовы.

— А точно, ваше благородие, — сказал он тихо, — вы в шестом часу пришли. Ещё фонарщик не проходил. Я помню, ей-богу. Если надо — так и скажу. Хоть кому.

Он ждал. Я понял, чего он ждёт: благодарности. Рубля сейчас, а лучше — дружбы сыскной полиции на будущее, когда околоточный придёт проверять, почему у Лукова торгуют водкой после одиннадцати.

Это был подарок. В шестом часу — в трактире, а значит, без четверти шесть не на Гончарной. Алиби, которое мне принесли на подносе вместе с кипятком.

И стоило оно ровно столько, сколько стоит половой, который предлагает его первым же вопросом.

— Не надо, — сказал я.

— Ваше благородие…

— Луков! — позвал я через зал.

Хозяин неспешно вышел из-за стойки и подошёл, вытирая руки о фартук. Гриша отступил на шаг и стал усердно протирать соседний стол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.